

* * *

Если хочешь, чтоб тебя выслушали,
начинай со слов: — Я тоже давно мертвец,
никуда не спеши,
верь только самоубийце,
но главное, будь скромнее...

Художник, и дома не снимая шляпы,
извиняясь за беспорядок, говорит,
что работал всего лишь он — жалкий дилетант.

Поэт хвалит другого поэта, говоря,
что не знает ничего лучше этих или тех строк.

Искусствовед говорит: — Это культурные стихи, —
или же не говорит ничего.

Муж говорит жене, что в нищей стране
пусть и она со своим ребёнком остается нищей.
Или сыну: — Если б твой отец был настоящим мужчиной,
ничего подобного не случилось бы.

Влюблённый молчит. Но он хочет сказать фразу Пьера:
— Будь я красивейшим, умнейшим, лучшим из людей,
то сейчас же, не раздумывая, на коленях
просил бы руки и любви Вашей...

...Ветер в каждом ищет опоры.

Солнце уже не выдаёт себя за золотые прииски.
Осенний лес ещё богатец,
но завтра не проронит и листа...
Каждый мудр. Как Бог Отец...

Очевидно, пришла пора скромности,
выставок на квартирах,
фотокопий и карикатур.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

Vademecum окончился вдруг.
Дальше — полюшко дураково.
Говорят — ты закончил круг,
дожидайся другого.

Как давно мне пора навестить
эту мысль в моей жизни скалярной, —
что и я угожу на верстак
в хирургической и столярной.

Между солнечных свежих стропил
я устал головой кадить.
И стою... как Муму утопил.
И не знаю, куда уходить.

* * *

В разгар зимы, второго марта,
с карнизов, крыш, балконов — в лёт
сносили выставку поп-арта,
которой главной темой — лёд.

Чудак, попав за ограждение,
под крики дворников, свистки,
возможно, думал: «Вырождение!
сосульки тают и легки...»

Кружился, прячась от патрона
с «кому там жизнь не дорога!...»
Пусть перевёрнута корона,
но разнозуба острога!

Я берегу простую льдинку
для отношений с чудачком,
кружусь под жизни абсурдинку
и знаю только о таком.

ЖАЛОБА В ОБКОМ

Досточтимый товарищ Курганов!
Мне важней, чем любой абсолют,
то, что волею Санкт-петербургских туманов
я не вижу майский салют,

по осанке дождя узнаю,
что надолго осада
/два дырявых ведра выпадают за год/,

из-за этих злосчастных осадков
не уехать на Пасху в Загорск.

Жди (и жду), что пристанут с вопросом — не Вы ли
говорите такое в сердцах,
что ушей не проходит навывлет
и всегда остаётся в сердцах?

Идиоты играют на кошках, как в марте,
моросят мотыльки вблизи...
Здесь и самая тёмная ночь в государстве
всей Великая, Малой и Белой Руси.

★ ★ ★

Я мнителен: сомнительно, что небу
дозволено светить без красных дат,
но рад погоде, как барыга НЭПу,
как увольнительной солдат.

Со скоростью иного опознания
под этим небом остудясь,
стыдясь, приму тычки за опоздание,
и промолчу, нисколько не стыдясь.

Я не могу считаться с медяками,
мой груз и так тяжёл, как гнев отца...
Когда б никто не бросил в меня камень,
не помнил бы ни одного лица.

Старик хромает, патриот издёрган,
дурак довольный кормит лебедей...
И пруд и парк — из дёгтя и из дёрна,
притягивают листья и людей.

* * *

О, моя бедняцкая душа!
Что могу я предложить любимой?

Крылышки летучего мыша
в южных городках любимых...
Расскажу о крематории вещей,
где стоят мои автомобили —
облицовки быстрых миражей,
старые и сплющенные крылья...

Спите, спите в пыли.
Скорости вынули душу.
Спите, мои нули,
корысти ради не думайте.
Я покопаюсь внутри,
как в уголовном деле:

ржавые банки — пни
красного дерева.
Кладбище старых машин —
лежбище битых тюленей...
А если в щёлку ширм, —
просто телеги!

Я не имел вещей.
Я не ломал их тел.
Я не умел вещей
и никуда не летел.

* * *

Плачу и рыдаю.
Один на городском пляже.
Оставив одежду на мосту.
В дождь и холод в октябре месяце.

Что со мной...

Подачка слабому сердцу, не вынесшему неприязни,
недомолвок, третей и половин?

Всю неделю я жил ими,

и никто не видел меня.

Но, до неприличия, я рассматривал людей
в метро и на улицах,

проверял и по памяти, и по спискам,

просматривал свои старые стихи...

Могу по праву сказать, что я мертвец.

Тормозящая машина оставляет две кровавые дорожки
на мокром асфальте. То же — и набирающая скорость.

Только на фантастической скорости,

за красным и жёлтым

можно различить зелёную листву...

В час, когда колят на небе,

я пью свою отраву из ковша,

ибо больше не знаю созвездий.

И мне снится последняя смерть...

★ ★ ★

Холод дан, постоять чтобы;

как страшат перелёт, перегон,

если даже голубь почтовый

залетает в почтовый вагон.

Холод — ты по кафе толкователь,

у тебя за плечами Талмуд,

но в квартирке людей — воркователь,

тот же голубь весёлых минут.

Он живёт в ожидании шара,

переполнен вокзал-кегельбан,

и теплей — в пансионе Тушара

помечтать о безлюдьи саванн,

или слушать в условленном месте
на карнизе окна мастерской
суету соискателей истин,
бред болезней — мирской и морской.

Море синее, волны рифелем,
детский почерк и взрослый крик:
воробей зачирикает грифелем,
коль и этот ковчег невелик.

Поворкуй для всех тварей. Их имена
перечисли и каждого встреть...
белоснежный — в руках Уитмена,
почерневший — в наших, на треть...

ИЗ ЦИКЛА «ТАДЖИКИСТАН»

I

Не выстукивай войлок, входи как к себе,
рот арбуза ножом разомкнём.
Это — горы вдали.
Это — щебет-шербет
над одним азиатским днём.

Восходителем став, не обидно ползти.
Далеко до Сары-Челек.
Разговором за чаем хозяев польсти,
соглашайся на всякий ночлег.

Я смотрел, как живут и киргиз и таджик:
незатейливо царство небесное.
Если б жить я решил, я хотел бы так жить,
и наверное знать, что не без толку.

Край зелёных знамён, продолжай газават
против прежнего бреда о смысле и роли...
Я ещё не прозрел, только стал косоват
на грядущую жизнь и на русское поле.

Встань за штору и жди, притаись, как стилет.
Кроме памяти всё в руке Божьей.
Верь, что я тебя вспомню до старости лет,
и приду к омовенью подножий.